

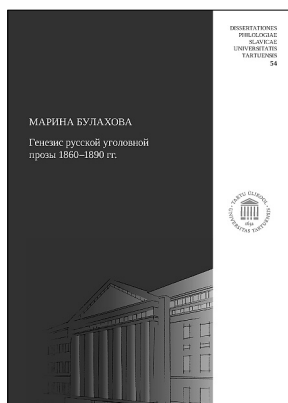
Преступления без наказаний

DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_363

Булахова М. Генезис русской уголовной прозы 1860–1890 гг.

Тарту, 2025. — 249 с. — (Dissertationes Philologiae Slavicae Universitatis Tartuenssis. 54).

Монография Марины Булаховой представляет собой исследование, потребность в котором ощущалась достаточно давно. Несмотря на интерес современного литературоведения к самым разным типам литературы, исследование уголовной прозы до настоящего момента носило фрагментарный характер. Многоаспектность исследования, сочетающего историко-литературный и генетический методы с социологическим и нарратологическим (как это заявлено в работе), также определяет интерес к новой книге об уголовной прозе XIX в.¹



В концептуальном введении обозначена теоретическая рамка исследования: «Литература преступления и наказания занимает в русской культуре XIX века видное место: уголовные сюжеты структурируют романную форму, правовой дискурс проникает в беллетристику, а судебная реформа 1864 г. меняет представления о роли доказательства, следствия и наказания в восстановлении справедливости» (с. 7). Для решения этой задачи Булахова использует телеологический подход, демонстрирующий разновекторность процесса зарождения и формирования уголовной прозы в России второй половины XIX в. Опираясь на исследования А.И. Рейтблата, Дж. Кейли, К. Уайтхед, Л. Мак Рейнольдс и концепцию «уликовой парадигмы» К. Гинз-

бурга², Булахова исходит из понимания жанра как формулы, обладающей свойствами повторяемости и воспроизводимости. На первый план при этом выходит не форма, а содержание, определяемое тематической принадлежностью и устойчивыми функциями актантов, в то время как конститутивные признаки уголовной прозы как жанра остаются неопределенными.

Вслед за предшественниками, рассматривая зарождение уголовной и детективной прозы в трех центрах, представленных литературами Великобритании, Франции и США, автор монографии утверждает: «Россия, Италия, Германия, Австралия — примеры литератур, которые вступили в жанровую игру с некоторым

- 1 Монография вышла в один год с исследованием Т. Борисовой «Когда велит совесть: Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России» (М.: Новое литературное обозрение, 2025). Выводы и результаты, к которым приходит Марина Булахова, во многом корреспондируют с выводами этой книги: «Именно судебная реформа 1864 года, закрепившая принципы гласного судопроизводства, состязательности и независимости судебных органов, создала не только институциональные, но и нарративные предпосылки для формирования жанра. С этих пор уголовное расследование превращается в центральную сцену публичного осмысления преступления — и в юридической практике, и в литературе» (с. 222).
- 2 Возможно, к истории изучения вопроса следовало бы добавить: *Моисеев П.А. Поэтика детектива*. М.: Издательский дом ВШЭ, 2017.

запозданием (примерно в 10–30 лет), но при этом не оставались пассивными реципиентами уже наработанных ходов. Они подхватывали популярные мотивы и структуры, но перерабатывали их, и в каждой из этих национальных “формул” можно выделить “ингредиенты”, взятые с родной почвы» (с. 10). Рассмотрению этих ингредиентов и посвящена рецензируемая работа — наблюдения исследователя представлены в четырех главах с сетью разветвленных параграфов.

В первой главе («Препарируя преступление: уголовная проза и литература 1840-х гг.») Булахова показывает общую эволюцию жанра от романтической новеллы, являющейся производной от баллады, к физиологическому очерку. Этот переход прекрасно иллюстрируется цитатой из Ф.В. Булгарина: «Классический Олимп и романтическую Валгаллу заменила харчевня, и в литературном мире появились герои в изорванных балахонах, с подбитыми глазами, говорящие языком передних и постоянных дворов. Новые журналы нарекли это природой или натурою, а лубочные картинки гениальными творениями художества... Изящное упало!» (цит. по с. 55). Особую ценность представляет суждение исследователя о влиянии цензуры, становящейся препятствием к усилению социального и обличительного содержания уголовной прозы. Интересна эта глава и с точки зрения «литературной бойни» Ф. Моретти³: два «сильных» текста (возможно, разного качества), «Парижские тайны» Э. Сю и «Мертвые души» Н.В. Гоголя, появляются для русской читательской публики в одно время, и именно второе произведение становится прецедентом, в то время как «Тайны» находят незначительное отражение в синхронном срезе (самые яркие образцы перечислены на с. 59: «Паргоровские тайны» П.Р. Фурмана, «Петербург днем и ночью» Е.П. Ковалевского, «Петербургские не-тайны» Ф.В. Булгарина⁴). Не исключено, что развитие уголовной прозы с использованием провинциального материала, рассмотренное исследователем на примере произведений второй половины 1850-х гг., было определено «долгим эхом» «Мертвых душ». В этом можно убедиться, обратившись к «Губернским очеркам» М.Е. Салтыкова-Щедрина, которые оставлены за скобками исследования, и «Провинциальным воспоминаниям» И.В. Селиванова, подробно рассмотренным в заключительном параграфе первой главы. Остальные произведения авторов уголовной и сыщицкой литературы, анализируемые в этой главе, свидетельствуют о дальнейшем укрупнении жанра через рецепцию «Парижских тайн» в 1860–1870-е гг. Особенно подробно рассмотрены Булаховой «Одесские катакомбы» В.М. Антонова — один из поздних образцов «трущобной литературы», сочетающий в себе сенсационные ходы и решения, совокупность которых формирует представление о гипертрофированности и нереальности всего происходящего (традиция романа «Мертвый осел, или Гильотинированная женщина» Ж. Жанена, нашащдая, среди прочего, воплощение в пародийном романе Д.Д. Минаева «Людоеды, или Люди 1860-х годов»). В выводах этой главы Булахова пишет о том, что формирование уголовной прозы «происходило в сложном взаимодействии с разными литературными традициями. Физиологический очерк подготовил почву для изображения социальных низов, но сам избегал детализированного описания организованной преступности. Роман-фельетон привнес в уголовный жанр сенса-

3 Моретти Ф. Литературная бойня // Моретти Ф. Дальнее чтение / Пер. с англ. А. Вдовина, О. Собчука и А. Шели. М.: Издательство Института Гайдара, 2016. С. 103–137.

4 Здесь автор работы опирается на работу Ф. Дженевре (*Genevray F. Trois décennies de «mystères urbains» en Russie: de la peinture du peuple à l'inventaire des bas-fonds // Médias 19* [URL: <http://www.medias19.org/index.php?id=17964>]) и статью: Чекалов К.А. Российская «мистеримания» 1840-х годов: парадоксы восприятия романа Эжена Сю // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2014. Т. 73. № 6. С. 15–22.

ционность, элементы загадки и двусмысленность моральных оценок. Западные влияния, особенно французская «неистовая словесность» и «городские тайны», воспринимались в России одновременно с восхищением и скепсисом, что привело к их специфической трансформации» (с. 94).

Сравнительно небольшая вторая глава («От городской “физиологии” к этнографическому очерку: смена изображаемой среды и способов репрезентации») представляет собой пролегомены к последующим частям работы. Автор работы при этом осознает, что предлагаемая «периодизация этапов становления уголовной прозы как сначала “физиологического” и затем “этнографического”, принятая в <...> работе, несколько искусственна — с точки зрения метода наблюдения это, безусловно, близкородственные подходы. Но она отражает важные демаркации: пространственную (город vs деревня, тюрьма), хронологическую (1840-е vs 1850-е гг.) и дискурсивную: физиологический очерк прямо заявляет свою художественность, тогда как этнографический очерк, напротив, делает вид, что представляет собой документальное свидетельство, а не фикцию» (с. 97). Если в первой главе у истоков уголовной прозы рассматривался М.П. Погодин, здесь его место занимает В.И. Даль, а чуть позже — Д.В. Григорович, П.И. Мельников-Печерский, А.Ф. Писемский и др. Отталкиваясь от знаменитой дилогии Григоровича — «Деревня» и «Антон Горемыка», — Булахова не рассматривает последующие тексты писателя, где криминальная составляющая, наравне с этнографической оптикой, была довольно значительной (например, в романах «Рыбаки» и «Переселенцы»), не рассмотрены и повести Н.С. Лескова, становившиеся предметом анализа в других, ранее опубликованных Булаховой работах.

Следуя за очерком острожной прозы, составленным Н.М. Ядринцевым в конце XIX в., Булахова оставляет в слепой зоне очерк петрашевца Ф.Н. Львова «Выдержки из воспоминаний ссыльнокаторжного» (1862), хотя представленные в нем портреты и фабулы преступлений, преимущественно совершенных женщинами, заключенными в Тобольском остроге, могли бы дать дополнительный материал для этой части главы. Но, как отмечалось выше, эта глава композиционно напоминает пролегомены, в том числе из-за отсутствующего подраздела «Выводы», завершающего другие главы работы.

Третья глава («От уголовных очерков к «запискам следователей») представляет собой своеобразную «перепись» сюжетов, обусловленных сценариями сыска и дознания⁵. Выделяя субжанр «записок следователя», Булахова показывает формирование *non-fiction* прозы, созданной реальными следователями (П.И. Степанов, Н.М. Соколовский, К.А. Попов, Н.П. Тимофеев, С.А. Панов, а также бывший писцом в полиции и суде А.А. Шкляревский). Наибольшую ценность с историко-литературной точки зрения имеет параграф, посвященный Клавдию Алексеевичу Попову, — собранные о нем сведения пополняют картину литературного процесса середины XIX в. и в будущем могут найти отражение в новом библиографическом указателе.

Анализ собранного исследователем корпуса текстов свидетельствует о специфике нарратива, обусловленного этнографическим взглядом на крестьянина и преступника из народа. Этот принцип анализа был емко сформулирован во второй главе исследования: «...в данном случае Другой, которого необходимо изучить, по-

5 Одновременно с выходом монографии была опубликована следующая статья: Вдовин А. «Деревенский детектив»: «уголовные рассказы» о крестьянах 1850-х годов и истоки криминальной прозы в Российской империи // Новое литературное обозрение. 2025. № 194. С. 76–92. Опираясь на предыдущие исследования А. Вдовина, Булахова, независимо от последней статьи, приходит к сходным наблюдениям и выводам.

нять, цивилизовать и проконтролировать, — это не представитель того или иного народа, а преступник. Соответственно, расследующий персонаж может быть представлен в роли просветителя, цивилизатора, культуртрегера» (с. 105). Симптоматично, что многие из рассмотренных в главе сюжетов демонстрируют интересную закономерность «преступления без наказания», в чем отражается не столько литературная традиция, сколько специфика уголовного делопроизводства эпохи, а также его трансформации в эпоху Великих реформ. Особый интерес представляют сюжеты, демонстрирующие предвзятость по отношению к так называемым «иностранцам», тенденциозный национализм и ксенофобию. Проследившая дальнейшую эволюцию рассматриваемого жанра, Булахова отмечает, что «записки следователя» подготовили появление формы детективного романа, что отразилось и на объеме анализируемых произведений: «...короткие записки сменились крупной формой уголовного романа» (с. 156).

В названии заключительной главы — «Их разыскивает жанр: судебный следователь, полицейский, благородный филантроп как расследующие герои» — отражена языковая игра, которая, несмотря на остроумие формулировки, затемняет ее методологические основы. В фокусе исследования оказывается не жанр, а актантные и нарративные структуры. Отдельное внимание уделено прецедентным текстам европейского детектива, сенсационной и криминальной прозы (речь о книгах Э. Сю, У. Коллинза и Э. Габорио), которые находят отражение в рассмотренных произведениях. Так, наряду с рассмотренными ранее традициями, останавливаясь особо на «мистеримании», вызванной поздней рецепцией «Парижских тайн», Булахова убедительно демонстрирует влияние готической прозы. Загадочные монахи, тайные агенты, владеющие боевыми искусствами, монастыри, полные «дьявольских искушений» («Убийца» и «Дитя» П.А. Салманова), — все это свидетельствует о роли сенсационного романа, явно конкурирующего с не менее наивной крестьянской этнографией. Важным результатом этой части работы становится обобщение наблюдений над морфологией уголовной прозы в таблице на с. 182–183 (возможно, как и собранный для анализа материал на с. 45–49, целесообразнее было бы поместить ее в приложениях к работе⁶). Заметим, что повесть С.А. Панова «Убийство в деревне Медведице»⁷, рассмотренная вслед за К. Уайтхед, и предвосхищающий квазидетективную прозу А.П. Чехова рассказ П.И. Телепнева «Убийство в Пузыревских банях» могут изучаться в аспекте того типа пародирования, который, по мысли Ю.Н. Тынянова, определяет литературную эволюцию⁸. В этом же ключе можно было бы рассмотреть пародийный роман В.П. Буренина «Преступница или нет», в котором автор обращается то к нарративам и сенсационности Ж. Жанена, прямо упомянутого в тексте, то к психологизму и надрывам Достоевского. Глава завершается рассмотрением уголовных романов московских газет, которое можно было бы продолжить обращением к рассказам о Пинкертоне⁹.

6 Представленный на с. 45–49 материал, по утверждению исследователя, дополняет список А.И. Рейтблата (*Рейтблат А.И. Материалы к библиографии русского дореволюционного детектива* // De Visu. 1994. № 3/4. С. 77–81). Однако критерии отбора материала в работе Рейтблата были иными: составителя интересовали детективы в чистом виде, поэтому произведения уголовной прозы, а также *true crime* осознанно вынесены в цитируемом списке за рамки работы.

7 Whitehead C.E. The Letter of the Law: Literacy and Orality in S.A. Panov's Murder in Medveditsa Village // Slavonic and East European Review. Vol. 89. № 1. P. 1–28.

8 Тынянов Ю.Н. О пародии // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 284–309.

9 Отмеченные К.И. Чуковским «дефекты» прозы о Пинкертоне, как показывает автор работы, были характерны для уголовной прозы второй половины XIX в.: «Зылов,

В отличие от многих современных авторов Марина Булахова предусмотрительно указала на следующую особенность исследований уголовного жанра: «[Она заключается] в значительной доле описательности и цитирования — это неизбежно, поскольку мы работаем с забытыми текстами из архивов культурной памяти, и зачастую наши пересказы, предваряющие концептуальный анализ (но не замещающие его) — это единственная для читателя возможность познакомиться с содержанием произведения» (с. 25). Действительно, для исследователя формульной и клишированной литературы постоянно актуальны следующие вопросы: в каком объеме необходим пересказ вводимой в научный оборот литературы и как сохранить изначально определенные концептуальные рамки. На наш взгляд, этот баланс не соблюден в рецензируемой работе, и аналитические методы уступают место дескриптивным: десятки страниц этой интересной монографии занимают пересказы произведений, составляющих по преимуществу «однородную компактную массу текстов»¹⁰. «Отдаем себе отчет, — пишет автор в заключении работы, — что у читателя, следовавшего за ходом нашего анализа, могло зарядить в глазах от калейдоскопа писательских имен, сюжетных вариаций и интертекстуальных связей, которые проступали не только в основном тексте, но и в разветвленной системе сносок» (с. 221). В то же время объем работы увеличивается из-за не всегда оправданной вовлеченности исследователя в уголовные процессы эпохи: избыточным выглядит опыт «доставивания» этих текстов, их рационализации, в ходе которой Булахова как бы сама занимает позицию расследователя (например, с. 137–140).

Еще один аспект, намеченный, но не развернутый в работе, связан с преемственностью и символическим наследованием литературной традиции внутри русской литературы. Булахова вводит в научный оборот интереснейший образец *Exegi monumentum*, оставленный автором «Московских тайн» М.М. Максимовым, посвятившим свою книгу «Илье Васильевичу Селиванову с глубочайшим уважением и преданностью»:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет насмешников тропа;
Сияет ярче он главой своей позорной
И Тредьяковского Профессора столпа

<...>

Слух обо мне пройдет по всей Руси пространной,
И проклянет меня всяк сущий в ней язык,
И с Ванькой Каином, Картушем и Пастраной
Потомство рядышком и мой повесит лик.

О, Муза ловкая, будь духу тьмы послушна,
Пред мнением общества, как сыщик, будь тверда,
Насмешки, пасквили, приемли равнодушно:
Покойно в свете жить без чести и стыда!

с неимоверной быстротою описав на воздухе одною ногою полукруг, с такою силою ударил в грудь своего противника, что тот застонал и повалился на землю, точно мертвый» (цит. по с. 165).

10 Лотман Ю.М. О типологическом изучении литературы // Лотман Ю.М. О русской литературе: статьи и исследования: история русской прозы, теория литературы. СПб.: Искусство, 2002. С. 766–774.

При всей художественной беспомощности такой вариант «Памятника» представляет собой свидетельство взаимодействия массовой и элитарной культуры, обозначающая ориентиры не только *imitatio*, но и *aemulatio*¹¹.

Резюмируя, отметим: исследование Марины Булаховой становится важной вехой в истории изучения уголовной прозы и ее генезиса. Жанр работы — одновременно монографии и диссертации, — вероятно, определяет отмеченную выше диспропорцию и в то же время позволяет говорить о многообразных перспективах: это и морфологический анализ, предполагающий выработку критериев для формализации материала, и социологическое исследование, возвращающее к вопросу о читателях рассмотренных текстов, и, наконец, создание корпуса, поскольку собранный массив данных можно в будущем представить как датасет. Но и на этом этапе исследование становится образцом работы с сюжетными формулами и нарративными клише, который следует учитывать будущим исследователям уголовной прозы XIX в.

11 Дубин Б.В., Зоркая Н.А. Идея классики и ее социальные функции // Дубин Б.В. Классика, после и рядом: социологические очерки о литературе и культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 9–42.